

Стрелочник

Александр Серафимович

*(Избранные произведения, Москва 1976.
Копия 14 января 2005 г. — не проверена.)*

I

— Эй, Иван, беги, начальник кличет!

Иван, стрелочник, мужичонка лет сорока, с испитым, истомленным лицом, весь в саже и масле, торопливо поставил в угол метлу, которою он сметал снег с платформы, и побежал в дежурную комнату.

Чего прикажете? — проговорил он, вытягиваясь у дверей.

Начальник, не обращая на него внимания, продолжал писать. Иван, стоял, вытянувшись и держа шапку под мышкой.

Он не смел еще раз спросить, а между тем дорога была каждая минута: он сегодня дежурит с восьми часов утра, дела по горло, надо станцию убрать к завтрашнему дню, убрать путь, осмотреть стрелки, тяжи и семафорам, вычистить все лампы и трубки, налить керосином, наколоть и натаскать на два дня праздника дров в станционные помещения, убрать зал первого и второго класса, — и еще многое другое мелькает у него в голове, что нужно сделать. Уже пятый час, уже смеркается, надо огни зажигать на стрелках.

Иван приложил заскорузлую ладонь ко рту и осторожно кашлянул, чтобы обратить на себя внимание.

— На стрелках огни не зажигал, еще? — проговорил начальник, поднимая голову.

— Никак нет, сейчас побегу зажигать.

— Зажжешь — пойдешь почистить из-под коровы: по колено в навозе стоит; никогда вовремя ничего не делается. От этого и копыта болят.

— Поезд товарный номер пять через десять минут, — осторожно вставил Иван.

— Ну, проводишь поезд, тогда...

— Слушаю-с.

Возражать не приходилось. Иван притворил за собою дверь и бегом прошел в ламповую. В крохотной комнатке, вроде чуланчика, по полкам стояло штук двадцать ламп самых разнообразных размеров, с блестящими, чисто вымытыми трубками. Иван отобрал из них несколько штук, поставил в широкий из толстой жести ящик и пошел к стрелкам.

Было тихо. Мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки. Зимние сумерки тихо спускались на станционные здания, на полотно, на дома обывателей. Снег хрустел под ногами. Там и сям проходили фигуры спешивших покончить свои дела людей, в ожидании отдыха в завтрашний праздник от повседневной нескончаемой работы и вечных забот.

Иван бегал от стрелки к стрелке и ставил лампы. По всему пути там и сям зажглись зеленые и красные огни, а на небе тоже зажигались одна за другой звезды, играя и искрясь сквозь прозрачный морозный сумрак.

II

Далеко-далеко с железнодорожного пути потянулся однообразный, долгий и унылый звук; он подержался в морозном воздухе и замер. Иван с секунду прислушался, потом побежал в будку, схватил фонарь, рожок и что есть духу пустился по полотну за станцию к самой дальней стрелке, что одиноко горела красной звездочкой среди снежной пелены пустынного поля. Бежать пришлось далеко. Но вот и стрелка. Иван взялся за рычаг, нажал ногой и навалился: тяж заскрипел, потянул рельсы и с визгом передвинул их на запасный путь. Вдали что-то зачернелось неопределенное и в то же время неуклюжее; затем оном стало расти и удлиняться все больше и больше, точно выползло откуда-то; блеснули два огненных глаза, и теперь уже ясно и резко зазвучал свисток локомотива. Звук вырывающегося из локомотивного свистка пара разносился во все стороны и стоял в морозном воздухе; казалось — ему и конца не будет. Уже вот и поезд весь виден, изогнувшийся на закруглении, уже и рельсы стали подрагивать от надвигающейся громадной массы, а нестерпимый звук режет ухо. Но наконец он оборвался и зазвучал три раза отрывисто и коротко.

Тогда Иван приставил рожок к губам, подобрал их особенным манером, надулся, покраснел и заиграл. И в ответ тому, что катилось, надвигалось и грохотало вдали, потянулся тонкий, унылый и жалобный звук рожка, от которого щемило сердце. Он тянулся безнадежно — вес на одной и той же ноте, среди зимних сумерек, среди снежной равнины, в виду уходивших в бесконечную даль рельсов.

Казалось, этот жалобный звук рожка говорил о том, что все равно спешить, что кругом все то же, что впереди такие же станции, каких миновали уже с сотню, те же станционные здания, звонок, платформа, начальник, служащие, разбегающиеся рельсы запасных путей, что тут так же уныло и скучно и каждый занят своим делом, своими мыслями, каждый ждет не дождется встретить праздник в семье и никому нет дела до тех, кто теперь мерзнет на тормозных площадках вагонов и напряженно всматривается в даль с площадки с грохотом катящегося локомотива. Но потом рожок как будто раздумал и весело и коротко протрубил три раза: тру... ту-ту... дескать, хот и скучно, и уныло, и все то же самое, а все-таки ведь можно забежать на станцию, выпить рюмку водки, закусить скверной селедкой, погреться, покалякать со служащими, а там — и опять в дорогу. Ведь и жизнь вся такая: труд, труд, изо дня в день, недели, месяцы, годы, и забудешь и не знаешь, что такое отдых. А вот когда и дождешься наконец отдыха, словно среди глухой степи на станцию поездом приедешь, так заворачивай-ка на третий запасный путь.

И локомотив послушался. Вон он уже совсем накатывается на стрелку, и пытит, и отдувается, и пар его дыхания с шумом вырывается из ноздрей и стелется по обеим сторонам белой пеленой по мерзлой и молчаливой земле. Он, видимо, начинает задерживать движение, вагоны набегают, сталкиваются и гремят буферами. Иван налег на рычаг, и поезд, хлопая, стуча и визжа на переходе железом о железо, стал переходить на запасный путь. Мимо стрелочника прошел локомотив, тендер, потом пошли один за другим вагоны. Их прошло уже штук двадцать, тридцать, а они, все так же набегая и сталкиваясь, катятся мимо, и редко-редко где виднеется закутанная человеческая фигура, закручивающая тормоз. Это был громадный груженный товарный поезд. Наконец мимо прошел последний вагон и покотился прочь, посвечивая в морозной мгле красным фонарем.

Стрелочник пустился догонять поезд, чтобы пропустить его на следующей стрелке на другой запасный путь. Хотя поезд замедлил ход и шел все тише и тише, догонять его было страшно трудно. Иван, задыхаясь и чувствуя, что ноги у него подкашиваются, бежал у заднего вагона, не в силах схватиться. Раза два он схватывался, но замерзшие, онемелые руки срывались, и он едва не угодил под колеса. Наконец-таки он уцепился за подножку, взобрался и несколько минут неподвижно держался за перекладину, не будучи в состоянии отдышаться. Поезд совсем замедлил ход и шел мимо станции: платформа тихо плыла назад.

Стрелочник соскочил и побежал в обгонку поезда к будке, куда сходились проволоки — тяжи от нескольких стрелок. Ну и, дьявол, здоровый! — бормотал он, нагоняя голову поезда. Он быстро вскочил в будку: тут

торчала целая куча рычагов от стрелок семафора. Он нажал один из них, и поезд, пройдя на запасный путь, стал вдали от станции в поле: ему нужно было дождаться и пропустить почтовый поезд. Стрелочник перекинул рычаг на главный путь, по которому должен был пойти почтовый.

Ну, теперь можно из-под коровы почистить, — решил он и направился через станцию на задний двор.

— Ты куда? — встретил его помощник начальника.

— Начальник велели из-под коровы. . .

— А платформа почему не подметена?

— Начальник велели из. . . под. . .

— Вовремя надо делать. Завтра праздник, а у нас на станцию не влезешь, гадость по колено. Сейчас подмети!

— Слушаю.

Помощник было пошел, но приостановился и крикнул:

— Да дров натаскай ко мне на вечер дня на два, а то вас, чертей пьяных, на праздник и за хвост не поймаешь.

— Слушаю.

Помощник ушел. Иван взял метлу и стал подметать платформу. И удивительное дело, — рассуждал он, широко захватывая справа налево метлой, — теперь одному человеку хучь разобраться. Об семи головах будь, и то не поспеешь. . .

— Эй, Иван!

— Чего изволите? — проговорил стрелочник, подбегая к дверям багажной, где стоял заведующий багажом.

— Куда ты запропастился, черти тебя носят. С ума ты сошел или ради праздника натрескаться успел: до сих пор в первом классе лампы не зажег. Пассажиры съезжаться начинают, а там хоть глаз выколи. Не хочешь служить, так убирайся ко всем чертям. . .

— Запомню, Василий Василич. Иван Петрович велели платформу подмести, а господин начальник — из-под коровы. . .

— Платформа, платформа! Вовремя все надо делать: ступай сейчас — зажги.

— Слушаю.

Иван поставил метлу и побежал в зал первого класса зажигать лампы. Тут уже стали собираться пассажиры, и Ивану в их фигурах, движениях и в том, как они расхаживали по залу и давали носильщикам на билет, виделось молчаливое ожидание, что вот, мол, наступает праздник и можно будет отдохнуть от дел и забот. Иван зажег лампы и побежал дометать платформу. Покончив с платформой и опасаясь, как бы его опять куда-нибудь не услали или еще что-нибудь не заставили делать,

он поспешил в дровяной склад. Дров колотых не было, — пришлось колоть. Иван с усердием принялся за работу. Надо было заготовить на все стационарные помещения, но этого мало: надо было нарубить и натаскать для комнат и кухни начальника и помощника. Правда, у них была своя прислуга и он, собственно, не был обязан этого делать — на нем лежала исключительно обязанность смотреть за стрелками и за путями, но ведь если начальство приказывает — некуда деваться. И Иван продолжал с кряхтением взмахивать топором и отбрасывать расколотые поленья. Груда колотых дров росла все больше и больше.

Должно, будя! — решил он и стал увязывать поленья в громадные вязанки, чтобы скорее отделаться — разнести дрова. Но когда он взвалил себе на спину первую вязанку, то почувствовал, что захватил слишком много. Пошатываясь, хватаясь за притолоку и стены, пошел он, сгибаясь под огромной тяжестью, наваленной у него на спине. И все-таки он сбрасывать не хотел: хотелось разом и скорее разнести дрова. Четыре вязанки он разнес по стационарным помещениям, надо было еще нести начальнику и помощнику во второй этаж, а это была самая тяжелая работа; колени гнулись, ноги дрожали. С напряжением, с усилием переступая со ступени на ступень, он каждую минуту ожидал, что совсем с дровами полетит по лестнице. Наконец он добрался до кухни помощника начальника и свалил дрова.

— Чего же поздно так? Из-за тебя жди, приборку нельзя кончать, полы мыть, все одно заляпаешь, — встретила Ивана кухарка помощника, сварливая, неуживчивая баба с красным носом и всегда с зарядом.

Иван озлился:

— Да ты бы пораньше натрескалась да кричала бы, что поздно! Что же, мне для тебя треснуть, что ли?

— Ах ты пьяница! Ах ты несчастный! Да будь ты трижды от меня, анафема, трижды, трижды проклят! Да я тебя, нечистая твоя морда, на порог не пущу теперя! Да я барину сейчас доложу. . . — И кухарка сделала решительный жест идти в комнаты.

Иван струсил.

— Макрида Спиридоновна, дозвоьте. . . да я к вам, значит, с нашим почтением и завсегда рад. . . Може, вам помойку вынести?

И, не дожидаясь ответа, подхватил лохань, сбегал и вылил. Спиридоновна смягчилась.

— Ну, натаскай же воды.

Иван натаскал воды.

— Лучины, что ли, наколол бы для самовара? В праздники-то неколи будет.

Ну, и баба озорная, что будешь делать с ней, — думал Иван, щепля лучину. — Тут, господи, дыхнуть неколи, а тут она. И ничего не подедаешь: пойдет жалиться.

Отделавшись и бормоча себе под нос, что человека совсем заездили, Иван отправился в сарай, где стояла корова начальника. Она меланхолически пережевывала жвачку и равнодушно глядела на вошедшего Ивана.

— Но, идол! — крикнул Иван. — Поворачивайся, сенной мешок! — И он со злобой ударил железной лопатой корову. Та покорно отодвинулась, поднимая ушибленную ногу. Иван начал работать, с ожесточением кидая навоз.

— И откуда навозу с нее столько! Только и знает, что жрет и пакостит; кабы столько молока давала, а то даром сено жрет. Да меня озолоти — не стал бы держать такую животину. Да и начальник. . . Мало, что ли, молока на базаре? — пошел да купил, были бы денежки. А то эдакую прорву держи, она тебя проест всего. Гляди — одного навозу наворочала сколько! У-у, тварь, чтоб те околеть!

И он опять с сердцем ткнул лопатой ни в чем не повинную корову, которая решительно не знала, чем заслужила такую немилость, и все жалась к стенке.

Ивана прошиб пот. Он чувствовал страшное утомление и то, что дольше не в состоянии работать; но надо было кончать.

— Кончу, — потить выпить рюмку с устатку, а то не вытянешь до смены.

Наконец навоз был убран. Иван, толкнув еще раз два корову, поставил в угол и пошел на станцию.

III

В буфете за столом грелись чаем кондуктора пришедшего товарного поезда. Иван подошел к стойке, взял стаканчик водки, выпил, крякнул, закусил кусочком вонючей рыбы и купил сороковку, чтобы дома встретить праздник честь честью. Сунув сороковку в карман, он отправился в будку, захватил ключ, молоток, чтобы осмотреть путь перед приходом почтового, и остановился в раздумье: если таскать с собой вино, то можно еще как-нибудь разбить драгоценную бутылку, если же оставить в будке, сменщик явится, непременно утащит водку: уж у него нюх на этот счет собачий. Сбегаю домой, отнесу, — решил Иван и, торопливо сбежав с полотна, направился к маленькой хатенке саженьях в тридцати от полотна, в которой приветливо светилось маленькое окошечко.

Иван заглянул в него: крохотная комнатка с огромной печью, всегда такая грязная, неудобная, заставленная горшками, кадучечками, всяким домашним хламом, теперь была прибрана, глиняный пол чисто смазан, стены выбелены, а полкомнаты занимавшая печь вся разрисована синими петухами. В переднем углу, под образами, стол был накрыт грубой, но чистой скатертью. На образе теплился восковой огарок, трепетно освещающий низкий потолок, синих петухов и русые головки ребятишек. Их было у Ивана восемь человек: один качался еще в подвешенной к потолку «зыбке».

Ребятишки, видимо, с нетерпением ожидали тятку, чтоб приступить к ужину, несмотря на то что сон клонил их головенки. И эти синие петухи, и выбеленные стены, и скатерть на столе — все производило на Ивана впечатление отдыха и покоя, которые ждут его.

Он постучался в окно. Вышла хозяйка.

— Кто тут? — проговорила она, всматриваясь при слабом мерцании звезд.

— Возьми, во захватил, в будке-то упрут.

— Али с дежурства?

— Нет, сейчас путь иду оглядеть.

— Долго не сиди после дежурства, ребятишки спать хотят.

— Через полчаса буду: зараз почтовый придет, — провожу — и домой.

Иван вбежал опять на полотно и, посвечивая фонарем и постукивая молоточком, пошел по рельсам, изредка подвинчивая ненадежные гайки. Он осмотрел стрелки, попробовал тяжи — все было в порядке — и направился к станции.

IV

Огромный, с двумя паровозами, почтовый поезд тяжело и с грохотом катился по рельсам. Снежные вихри крутились из-под колес, и пар, клубами вырываясь из двух труб его локомотивов, далеко стлался белой пеленой. Весь поезд был битком набит публикой. Кондуктора ходили по вагонам, отбирая билеты. Впереди грубо зазвучал паровозный свисток.

Пассажиры снимали с полок чемоданы, узлы, увязывали подушки. Поезд стал задерживать ход. Тормоза со скрежетом зажимались к колесам.

Иван, как только поезд подошел к платформе, по знаку начальника дал первый звонок, — здесь остановка была всего на две минуты, — бросился в багажный вагон и стал вытаскивать багаж высаживающихся здесь пассажиров.

Он изо всех сил раскидывал чемоданы, сундуки, тюки, разыскивая нужные номера. Когда багаж был выгружен, Иван повез его на тележке в багажную.

— Иван, какого же ты черта?! Второй звонок, тебе говорят. . .

Небольшой колокол отчетливо и звонко ударил два раза.

— Беги, отдай разрешение!

Стрелочник схватил разрешение и пустился по платформе к паровозу, толкая публику. Поезд был громадный, и надо было почти весь его пробежать. Машинист, перегнувшись с своей площадки, взял у запыхавшегося Ивана путевую.

— Третий! . . . — Чувствуя, как колотится у него сердце, кинулся опять к звонку и ударил три раза. Свистнул оберкондукторский свисток, паровоз отозвался сердито и нехотя, и поезд, раздвигаясь и визжа железом, стал трогаться. Платформа пошла назад, а вагоны, раскачиваясь, мерно постукивая колесами на стыках, покатались по рельсам друг за другом.

Иван с облегчением вздохнул. Он дежурит через день и каждый раз в десять часов ночи точно так же надрывается, выгружая багаж, точно так же ему нужно и давать звонки, и передавать разрешение машинисту, и бежать открывать семафор, то есть каждый раз приходится исполнять обязанности, которые должны быть распределены, по крайней мере, между двумя человеками, и это в продолжение двадцати двух лет!

Эти двадцать два года съели его. Ему казалось, что он только и умеет делать и всю жизнь только и умел делать — это бегать по стрелкам, подавать сигналы, давать звонки, зажигать лампы. Работа эта казалась наиболее легкой, подходящей, благодарной. Ему казалось, что, кроме нее, он больше ни на что не способен, не годен. У него было восемь детей, и он получал пятнадцать рублей в месяц. Потому-то, когда он бегал по стрелкам, пропускал поезда, ставил фонари, чистил из-под коровы, подметал платформу, он носил с собою одну и ту же мысль, одно и то же ощущение: страх, не сделал ли он чего-нибудь «не так», не сделал ли он упущения, не вышло бы чего-нибудь скверного. Двадцать два года сделали свое дело, и ему никогда не приходило в голову, что он мог бы и иначе устроиться. Вне железнодорожного порядка дня, вне станции, путей, платформы он себя не представлял. В десять часов вечера с отходом почтового поезда кончалось его дежурство, и только тогда вместе с глубоким вздохом облегчения с него сваливалась давящая тяжесть страха и ожиданий, как бы чего не случилось.

Так и сегодня. Когда поезд прошел платформу, Иван, испытывая необыкновенную слабость, которая всегда охватывала его по окончании дежурства, и чувствуя в то же время, как сваливается с него тяжесть,

поднял руку, чтобы перекреститься, и... замер. Страшная мысль прожгла его: *он забыл перекинуть рычаг стрелки* на главный путь по проходе товарного поезда, на который теперь несся почтовый. Весь страх, все отчаяние ответственности охватили его. Без шапки, с побелевшим лицом, кинулся он бежать туда, где, удаляясь, светился красный фонарь уходившего поезда.

Поздно!... Вот-вот раздастся оглушительный треск, и к небу в белесоватом ночном сумраке подымет над полотном темная громада, неподвижная и зловещая, и нечеловеческие бессмысленные крики наполнят морозную, зимнюю ночь.

Чтоб не слышать их, Иван кинулся на боковой путь, по которому в этот момент шел дежурный паровоз. Задыхаясь, добежал он и бросился на ярко освещенные рефлекторами приближавшегося паровоза рельсы.

В эти несколько секунд вся его жизнь, точно озаренная отблеском, предстала пред ним, законченная сегодняшним днем: дежурство... платформа... лампы, дрова... корова... печь с синими петухами... русые головенки и... роковая стрелка!...

В этот момент страшного напряжения вдруг с поразительной отчетливостью представилось, как он перекинул стрелку на главный путь... Боже мой, ведь он *правильно ее поставил!*... Он спутал, и почтовый поезд благополучно шел по главному пути...

Иван отчаянно закричал и сделал нечеловеческое усилие скатиться с рельсов, но в эту самую секунду накатившийся паровоз обрушился на него всей массой железа, стали, раскаленного угля и... перервал ему дыхание.

V

Машинист дежурного паровоза стоял на площадке, поглядывая на бегавшие навстречу и ярко освещенные рельсы. Мелькнула одна стрелка, другая. Он взялся за свисток и несколько раз дернул. Застучали колеса на переходе, захлопали, мелькнул зеленый огонь, будка вынырнула из темноты и опять пропала. Вдруг он, как сумасшедший, бросился к регулятору и закричал не своим голосом: «Тормоз!» А уже помощник сам изо всех сил тормозил, отчаянно налегая на рукоять.

— Господи, никак, человека зарезало!...

Заскрипели тормозные колодки, завизжали колеса, пар рванулся в открытые клапаны. Из-под паровоза донесся нечеловеческий вопль: «Ай, бат...» — и оборвался. Паровоз пробежал еще с сажень, остановился.

Соскочили машинист с помощником наземь — ничего не видать: сечет крупой в темноте ветер очи. Бросился помощник за фонарем, осветил им, видит — лежат поодаль вдоль рельса две отрезанные ступни, а за колесами под паровозом виднеется человек.

— Ведь зарезало, царица небесная!..

Побежал помощник на станцию, сбежался народ. Отодвинули паровоз назад. Кто-то наклонился над лежавшим:

— Помер!

Все смолкли, сняли шапки, перекрестились.

Иван неподвижно лежал между рельсов с насильственно повернутой набок головой, с закатившимися глазами. Кольцо фонаря, надетое на правую руку, сорвало у кисти кожу и завернуло ее, как кровавый рукав, к самому плечу; сама рука была вывернута в плече и закинута за голову, а ребра левого бока глубоко вдавлены в грудь.

Среди собравшихся слышался сдержанный, подавленный говор: расспрашивали, как случилось несчастье, не был ли покойник выпивши, кричал ли, как на него набежала машина. Никто ничего не мог толком ответить.

— Только это я выглянул, — говорил изменившимся от волнения голосом машинист окружившей его кучке, — вижу, огни на стрелке засветились, думаю — стану сейчас; только что хотел было повернуться, гляжу, а он тут, у самого фонаря... Господи!.. кинулся я... а он как закричи-ит... потемнело у меня, знаю, что тут вот под паровозом человек, и ничего не могу сделать... — Голос у машиниста оборвался.

Ветер набежал, зашумел и посыпал на мертвеца и всех стоявших белой крупой. Все замолчали. В паровозе угрожающе клокотал сдавленный пар. Машинист поднялся на площадку и повернул какую-то ручку: пар с бешенством вырвался низом, окутав всех тепловатой сыростью.

— А ведь шел, не думал. Должно, к стрелке шел. Он его тут и накрыл.

— Рожок весь так и свернуло, а самого, видно, зацепило за фонарь и поволокло, а то бы пополам перерезало.

На минуту опять водворилось молчание. Ветер снова зашумел по насыпи и посыпал крупой.

— Послали за начальником?

— Сейчас пошли.

— Баба теперича завоет — с восьмерыми осталась.

От станции показались огни и темные силуэты людей. Подошел начальник. Собравшаяся кучка расступилась. Он взял у служащего фонарь, направил на покойника: на мгновение свет мелькнул по сурово-сосредоточенным лицам стоявших, по рельсам, по шпалам и упал на

искаженное страданием лицо убитого с неподвижными белками закатившихся глаз. Начальник слегка повернулся и велел убрать тело в пустой вагон.

Принесли рогожу; подняли труп; он стал коченеть. Вывернутая рука бессильно упала и повисла.

— Чего же, надо всего... — сдержанно проговорил один из поднимающих, как будто не договаривая.

— Вон где, — указал в темноте помощник.

Кто-то отделился с фонарем, прошел несколько шагов вдоль рельсов; видно было, как он нагнулся и поднял что-то. Вернувшись, он бережно положил на рогожу отрезанные ступни.

Тело отнесли и положили в пустой вагон, одиноко стоявший на запасном пути.

В составленном на месте происшествия протоколе значилось: «Ноября такого-то числа на станции такой-то железной дороги, шедшим в депо дежурным паровозом № 5-й был задавлен, по собственной своей неосторожности, дежурный стрелочник, кр. Орловской губ., Демьяновской вол., дер. Улино, Иван Герасимов Пеливасов.»

VI

Было часов десять утра. По платформе гуляла публика. Ожидался поезд; уже было получено по телеграфу извещение, что он вышел со станции. Пассажиры повыбрались из зал вокзала и расположились с узелками, чемоданами и корзинами на платформе у самого полотна, то и дело поглядывая в ту сторону, откуда ожидался поезд. Жандармы, позвякивая шпорами, осторожно и подозрительно поглядывали вокруг. Раздвигая публику, гулко прокатили по асфальту багажную тележку. Торопливо пробежал смазчик с длинным молотком и лейкой, несмотря на холод — в синей замасленной блузе без пояса. Вышел начальник, полный господин, в красной фуражке и золотых очках, слегка приподняв голову и с видом человека, привыкшего отдавать приказания.

В это время какая-то женщина пробиралась между публикой, постоянно оглядываясь: она, видимо, искала кого-то. Лицо и глаза ее были красны, на редкие ресницы, сиротливо торчавшие на подпухших и как будто слегка вывернутых веках, набегали слезы. Она старалась удержать их, непрерывно вытирала и постоянно сморкалась в угол головного платка. Но как только она увидала начальника, слезы неудержимо закапали из глаз. Она подошла к нему и, держа у подергивавшихся губ зажатый в руке конец платка, хотела что-то сказать, но не выдержала

и вдруг неожиданно заголосила на всю станцию, так что все невольно оглянулись. Начальник неприятно поморщился и слегка нахмурил брови:

— Что такое? Что ты, матушка?

— Ба... ба... ро-ди-мый, за... за-да... ви-ло... за... да-ви-ло...

Кругом столпились, вытягивая один из-за другого шеи и стараясь взглянуть на начальника и на голосившую бабу.

— Чего она кричит? — спрашивали друг у друга.

— Вчерась кого-то убило тут, рассказывают.

«Чистая» публика держалась в стороне, поглядывая издали на происходившее.

— Да что такое?

— Жена умершего вчера стрелочника, — объяснил начальнику высокий артельщик с бляхой на груди.

— Так чего же тебе, матушка?

— Ро-ди-мый мой... куды же те-пе-ри-ча? не ду-ма-ли, не га-да-ли... приходят, рассказывают — убило тво-во... убило... при-ду... о-оо... — Женщина не выдержала: как только стала рассказывать о том, что муж говорил «приду», она истерически зарыдала, ухватившись обеими руками за тощую грудь.

— Иди за мной! — приказал начальник, направившись в вокзал и желая увести женщину от публики.

Она пошла за ним, наклонив голову набок и все так же судорожно рыдая.

— Так ты что же, хочешь, чтобы тебе помогли?

— Батюшка, куды же с сиротками теперича — исть нечего... Нельзя ли вашей милости от железной дороги чего-нибудь, помощи какой?

Начальник полез в карман, достал бумажник и подал женщине три рубля.

— Это вот от меня, понимаешь, это я даю, как частный человек, все равно как если бы кто другой дал; а управление дороги ничего не выдаст: оно не отвечает за такие случаи, — твой муж был убит по собственной неосторожности. Неосторожен был, понимаешь? Железная дорога не отвечает в таких случаях.

— Куды же нам деться?... пенсию, рассказывают, можно охлопотать, а то с голоду помереть с ребятами... Христом богом прошу, не оставьте вашей милостью... — И женщина, нагнувшись, достала рукой до земли.

— Да говорят тебе — не отвечает в таких случаях железная дорога. Послушай-ка, — обратился начальник к проходившему кондуктору, — растолкуй ей, что управление ничего не выдаст. Может, конечно, повести дело судебным порядком, но толка никакого не будет, только деньги и время даром убьет.

Начальник вышел. Женщина стояла на одном месте, вздрагивая от душивших ее рыданий и непрерывно вытирая глаза и красное мокрое лицо концом платка.

— Ну, вот что, Алексеевна, иди теперь с богом. Начальник сказал «нельзя», — значит, нельзя. Сколько можно было, помог, добрый человек, а дорога не отвечает. Это если бы по ее вине, можно бы высудить, а так ничего не будет. Ну, иди, иди, Алексеевна, а то поезд сейчас придет.

Она тихонько пошла. Публика, стоявшая на платформе, видела, как она прошла по полотну, и один из жандармов крикнул: «Проходи, проходи — поезд сейчас»; потом спустилась с насыпи. Некоторое время красный платок ее мелькал из-за оголенных деревьев станционного садика и наконец пропал за последними деревьями.